

Верево́чка. Ги де Мопассан

Гарри Алису

По всем дорогам шли крестьяне с женами, направляясь в местечко Годервиль: был базарный день. Мужчины шли неторопливым шагом, наклоняясь вперед всем телом при каждом движении длинных кривых ног, изуродованных грубой работой: тяжестью плуга, заставляющей одновременно поднимать левое плечо и изгибать туловище, жатвой хлеба, при которой нужно раздвигать колени, чтобы найти крепкий упор, – всем медлительным и тяжелым деревенским трудом. Их синие блузы, накрахмаленные, блестящие, как будто лакированные, украшенные у ворота и у кисти незатейливой белой вышивкой, раздувались вокруг костлявого туловища и были похожи на шары, готовые улететь, из которых торчали голова, две руки и две ноги.

Крестьяне тащили на веревке корову или теленка. А жены, идя позади, подгоняли животных свежесрезанной веткой. В другой руке они несли большие корзины, откуда выглядывали головы цыплят или уток. Шагали они более мелко и торопливо, чем мужчины, укутав тощей и прямой стан плохонькой узкой шалью, заколотой булавкой на плоской груди, и туго повязав голову белым платком, поверх которого был надет еще и чепец.

Иной раз проезжал шарабан, влекомый лошаденкой, бежавшей неровной рысью, от чего забавно подпрыгивали двое мужчин, сидевших рядом, и женщина в глубине повозки, державшаяся за ее край, чтобы ослабить резкие толчки на ухабах.

На площади Годервиля была давка, толчея сбившихся в кучу людей и животных. Рога быков, высокие войлочные шляпы богатых крестьян и чепцы крестьянок возвышались над толпой. Крикливые, пронзительные, визгливые голоса сливались в сплошной дикий гам, из которого временами выделялся громкий хохот, вырывавшийся из могучей груди подвыпившего поселянина, или протяжное мычание коровы, привязанной к забору.

Все это пахло стойлом, молоком и навозом, сеном и потом, издавало кислый, отвратительный запах скотины и человека, свойственный деревенским жителям.

Дядюшка Ошкорн из Бреоте только что пришел в Годервиль и направился к площади, как вдруг заметил на земле маленькую веревочку. Дядюшка Ошкорн, бережливый, как все нормандцы, подумал: стоит подобрать то, что может пригодиться. И он нагнулся с трудом, так как страдал ревматизмом. Он поднял с земли обрывок тонкой веревки и уже собрался аккуратно свернуть ее, когда увидел шорника Маландена – тот стоял на пороге своего дома и смотрел на него. Когда-то они повздорили из-за недоузка и с тех пор оставались не в ладах, так как оба были злопамятны. Ошкорну стало немного стыдно, что враг увидел его за таким делом – копающегося в грязи из-за обрывка веревки. Он поскорей сунул свою находку под блузу, потом в карман штанов; потом сделал вид, будто ищет на земле что-то, – и пошел к рынку, вытянув шею и скрючившись от боли.

Он тотчас же затерялся в крикливой и медлительной толпе, разгоряченной нескончаемым торгом. Крестьяне щупали коров, уходили, возвращались неуверенные, опасаясь попасть впросак, не имея духа решиться, зорко следя за продавцом, упорно стараясь разглядеть хитрость в человеке и изъян в животном.

Женщины поставили возле себя большие корзины и вынули из них птиц, которые лежали теперь на земле, распростертые, со связанными лапками, с ярко-красными гребешками, и испуганно глядели на людей.

Крестьянки выслушивали предложения с холодными, бесстрастными лицами и не спускали цену; или вдруг, решив уступить, кричали вслед медленно удалявшемуся покупателю:

– Ладно, дядюшка Антим! Берите.

Площадь понемногу опустела, и в двенадцать часов, когда отзвонил колокол, призывающий вознести молитву богородице, все, кому было далеко до дому, разошлись по трактирам.

У Журдена большая зала была полна обедающих, а широкий двор полон экипажей всех сортов – телег, кабриолетов, шарабанов, одноколок, диковинных повозок, желтых от навоза, изуродованных, залатанных, поднимавших к небу, как две руки, свои оглобли или уткнувшихся носом в землю с поднятым вверх задком.

Как раз против стола, за которым разместились посетители, ярким пламенем пылал огонь в огромном камине, обдавая жаром спины сидевших справа. Над очагом поворачивались три вертела с насаженными на них цыплятами, голубями и бараньими окороками; чудесный запах жаркого и мясного сока, стекавшего с подрумяненной кожи, возбуждал всеобщую веселость и наполнял рот слюной.

Вся аристократия плуга обедала здесь, у дядюшки Журдена, трактирщика и барышника, ловкача, у которого водились деньжонки.

Блюда сменялись одно другим и опустошались так же, как и кувшины желтого сидра. Каждый рассказывал о своих делах, покупках и продажах. Спрашивали друг друга об урожае. Погода была хороша для овощей, хотя и сыровата для хлебов.

Вдруг во дворе, перед домом, забил барабан. Все тотчас же вскочили, за исключением нескольких равнодушных, и бросились к дверям и окнам – с набитыми ртами и с салфетками в руках.

Кончив барабанить, глашатай прокричал отрывистым голосом, невпопад разделяя фразы:

– Доводится до сведения жителей Годервиля и вообще всех лиц, присутствовавших на базаре, что сегодня утром был потерян, по дороге в Безвиль, между девятью и десятью часами, бумажник черной кожи, содержащий пятьсот франков и деловые бумаги. Просят немедленно доставить находку в мэрию или гражданину Ульбреку из Манневиля. Вознаграждение – двадцать франков.

Потом этот человек ушел. Издали еще раз слабо донесся звук барабана и заглушённый голос глашатая.

Все принялись толковать об этом событии, обсуждая, удастся или не удастся дядюшке Ульбреку получить обратно свой бумажник.

Обед кончился.

Допивали кофе, когда на пороге появился жандармский чин.

Он спросил:

– Здесь гражданин Ошкорн из Бресте?

Ошкорн, далеко сидевший за столом, отозвался:

– Здесь.

Полицейский чин продолжал:

– Гражданин Ошкорн! Не угодно ли вам последовать за мной в мэрию? Господин мэр хочет с вами поговорить.

Крестьянин, удивленный, встревоженный, одним духом опрокинул рюмку, встал и, еще больше согнувшись, чем утром, – так как первые шаги после отдыха всегда тяжелы, – собрался в путь.

– Я здесь, я здесь, – повторил он и пошел за жандармом.

Мэр ждал его, сидя в кресле. Это был местный нотариус, человек тучный, важный, выражавшийся напыщенно.

– Дядюшка Ошкорн! – сказал он. – Сегодня утром видели, как вы подняли на Безвильской дороге бумажник, оброненный Ульбреком из Манневиля.

Крестьянин с недоумением смотрел на мэра, испуганный уже одним подозрением, павшим на него неизвестно по какой причине.

– Что? Я поднял этот бумажник?

– Да, именно вы.

– Ей-богу, я и знать о нем не знаю.

– Вас видели.

– Меня видели? Да кто же это меня видел?

– Шорник Маланден.

Тут старик припомнил, понял и, красный от гнева, вскричал:

– А, он меня видел, скотина! Он видел, как я поднял эту веревочку? Вот она, господин мэр.

И, пошарив в кармане, вытащил обрывок веревки.

Но мэр недоверчиво покачал головой.

– Вы меня не убедите, дядюшка Ошкорн, будто Маланден, человек, достойный доверия, принял эту бечевку за бумажник.

Крестьянин в бешенстве поднял руку и, сплюнув в сторону, чтобы подтвердить свою честность, повторил:

– Да ведь это суцая правда, вот как перед Богом, господин мэр! Клянусь спасением моей души. Я правду говорю.

Мэр продолжал:

– Мало того, подняв этот предмет, вы еще долго искали в грязи, не выпала ли оттуда какая-нибудь монета.

Бедняга задыхался от негодования и страха.

– И скажут же!.. И скажут же!.. Чего только не наплетут, чтобы опорочить честного человека! И скажут же!..

Но как он ни протестовал, ему не верили. Ему дали очную ставку с шорником Маланденом – тот возобновил и подтвердил свое показание. Они ругались битый час. Дядюшку Ошкорна обыскали по его просьбе. И ничего не нашли.

Наконец мэр, в полном недоумении, отпустил его, предупредив, что передаст дело прокурору и будет ждать распоряжений.

Новость быстро распространилась. При выходе из мэрии старика окружили, стали расспрашивать с серьезным или насмешливым любопытством, в котором, однако, не было ни малейшего возмущения. Он принялся рассказывать историю с веревкой. Ему не верили. Над ним смеялись.

Он шел, его поминутно останавливали, он и сам останавливал знакомых, без конца повторяя свой рассказ и свои заверения, выворачивая карманы, чтобы доказать, что у него ничего нет.

Ему говорили:

– Ладно уж, старый плут!

Он негодовал, горячился, выходил из себя, в отчаянии, что ему не верят, не зная, что делать, и без конца возвращался к своему рассказу.

Стемнело. Надо было ехать домой. Он пустился в путь с тремя соседями, которым показал место, где подобрал веревку; и всю дорогу только и говорил о своей беде.

Вечером он обошел деревню Бресте, чтобы всем рассказать об этом. И всюду встречал недоверие.

Целую ночь он промучился.

На другой день, около часу пополудни, Мариус Помель, работник дядюшки Бретона, фермера из Имовиля, вручил бумажник с его содержимым Ульбреку из Манневиля.

Парень утверждал, что нашел бумажник на дороге, но, не умея читать, отнес его домой и отдал своему хозяину.

Новость облетела окрестности. Дядюшка Ошкорн узнал об этом. Он тотчас отправился по деревне и снова принялся излагать свою историю, на этот раз вместе с ее концом. Он торжествовал.

– Что мне обидно было, так это не самое обвинение, понимаете ли, а напраслина. Нет ничего хуже, если на тебя возведут напраслину.

Весь день он толковал о своем злоключении; он рассказывал о нем на дорогах прохожим, в кабачке – посетителям, а в воскресенье – прихожанам, выходящим из церкви. Останавливал даже незнакомых. Он как будто успокоился, и все-таки ему было не по себе, хотя он и не знал, отчего именно. Его слушали со скрытой насмешкой. Его слова, казалось, не убеждали. Ему чудилось, что люди за его спиной перешептываются.

Во вторник на следующей неделе он отправился на базар в Годервиль только для того, чтобы рассказать свою историю.

Малаңден, стоя на пороге своего дома, увидел его и засмеялся. Почему?

Ошкорн заговорил было с одним фермером из Крикетто, но тот не дал ему кончить и, хлопнув собеседника по животу, крикнул ему прямо в лицо:

– Ладно, хитрая бестия! – и повернулся к нему спиной.

Дядюшка Ошкорн оторопел от изумления, и беспокойство его усилилось. Почему его назвали «хитрой бестией»?

Сидя за столом в трактире Журдена, он снова принялся объяснять, как было дело.

Барышник из Монтевиля крикнул ему:

– Знаем, знаем мы, старый пройдоха, что это была за веревочка!

Ошкорн пробормотал:

– Да ведь его нашли, бумажник-то этот!

Но тот не унимался:

– Помалкивай, папаша, один нашел, другой вернул. Никто ничего знать не знает, все шито-крыто.

Крестьянин остолбенел. Наконец он понял. Его обвиняли в том, что он отослал бумажник с приятелем, с сообщником.

Он попытался возражать. Но за столом поднялся хохот.

Не дообедав, он ушел, провожаемый насмешками.

Он вернулся домой, охваченный стыдом и гневом, задыхаясь от бешенства, в полной растерянности, особенно удрученный тем, что, как хитрый нормандец, он, в сущности, был способен сделать то, в чем его обвиняли, и даже похвастать этим как новой проделкой. Он смутно ощущал, что не сумеет доказать свою невиновность, раз свойственное ему плутовство всем известно. И все же он был глубоко уязвлен несправедливым подозрением.

И он снова принялся рассказывать свою историю, каждый день удлиняя рассказ, каждый раз прибавляя новые доводы, заверения все более решительные, клятвы все более торжественные, которые он придумывал, измышлял в часы одиночества, потому что ум его был целиком занят историей с веревкой. И чем сложнее были его оправдания и тоньше доказательства, тем меньше ему верили.

– Лгуны всегда так изворачиваются, – говорили у него за спиной.

Он это чувствовал и бесился, изнемогая от бесплодных усилий.

Он заметно стал чахнуть.

Шутники, чтобы позабавиться, заставляли его теперь рассказывать про «веревочку», как заставляют солдата, побывавшего на войне, рассказывать о сражении, в котором он участвовал. Его подорванные душевные силы угасали.

В конце декабря он слег.

Дядюшка Ошкорн умер в первых числах января. И даже в предсмертном бреду доказывал он свою невиновность:

– Веревочка!.. Веревочка!.. Да вот она, господин мэр.